

**С. А. Ипатова**

**«КУХОННЫЙ МУЖИК СОВЕТСКОГО СОЮЗА»  
(К истолкованию заглавия очерка)**

Очерк Платонова «Кухонный мужик Советского Союза», написанный в июле 1931 года, готовился автором и его редактором, литературным критиком Н. И. Замошкиным, почитателем платоновского творчества, для публикации в журнале «Новый мир», которая, как известно, не состоялась. На первой странице рукописи, не так давно обнаруженной В. В. Перхиным в Рукописном отделе Государственного Литературного музея в фонде Замошкина, сохранилась резолюция заместителя заведующего Управлением агитации и пропаганды ЦК ВКП(б) С. Б. Ингулова: «Не печатать».

Впервые очерк Платонова увидел свет лишь в 1997 году. Драматическая история идейного «раздвоения» писателя и его духовных мытарств периода создания очерка, т. е. непосредственно после выхода в свет повести «Впрок», за которую Платонов был объявлен «идеологическим агентом кулачества», подробно изложена в преамбуле к публикации «Кухонного мужика Советского Союза».<sup>1</sup> Полагаю, что это заключение исследователя нуждается в некоторой корректировке.

Итак, имеющееся заглавие очерка является первоначальным, и на этом основании совершенно обоснованно восстановлено публикатором вместо более позднего «Ветер, а не человек», измененного Платоновым в процессе авторедактуры. Определенный пласт идейного содержания очерка, написанного непосредственно не только после повести «Впрок», но и рассказа «Усомнившийся Макар» («вредного», по мнению Сталина), романов «Чевенгур» и «Котлован», показывает, как справедливо считает В. В. Перхин, «что в сознании писателя сохранялось траги-

---

<sup>1</sup> Платонов А. Кухонный мужик Советского Союза (очерк) / Публ. В. В. Перхина // Русская литература. 1997. № 3. С. 175—182. Очерк републикуется в настоящем издании; далее ссылки даются в тексте с указанием страницы по настоящему изданию.

ческое понимание действительности. Жизнь крестьянства полна материальной недостаточности и лишений. Страна остается „глиносоломенной”. Вместе с тем в произведении имеется и «другой пласт идейного содержания», связанный «с установкой на показ достоинств совхозной и колхозной жизни, прежде всего изобилия» (с. 461). Такая разноречивость Платонова, надо полагать, закономерно ставит вопрос о художественном просчете автора, если только она не обусловлена конкретной творческой установкой, что мы и вправе предположить.

\* \* \*

В то время как в колхозе Чистово «ветер выдувает из жилья печное скудное тепло», состоящее из конского навоза, коровьих лепешек и «небольшой доли соломы», а дети лежат на печи и икают от холода и голода, в некоем соседнем совхозе, «как ветер либо ураган, — так жарко в каждом жилье, стряпухи пироги с пышками пекут», механики, «утомившись танцевать», слушают гармонику, а «двое кузнецов насыщались, макая в горшок с коровьим маслом» блины, которые пекла кухарка (с. 464—466).

Устройство, отапливающее совхоз и снабжающее его водой, изобретено инженером Кашкаровым: продувающий избы ветер подогревается электрическими печами, работающими от силы динамомашины, установленной на старой мельнице. Платонов дает картину почти райского благополучия в отдельно взятом совхозе на фоне всеобщей голодной действительности. И благополучие это является результатом не эффективного труда при восторжествовавшем социализме, а работы некоего обогревательного зимой, а летом водоснабжающего устройства с инженерной точки зрения, — фантастического до нелепости.

Удивительно, но члены совхоза, обретаясь в этом почти райском благополучии и довольстве, волей автора остаются абсолютно статичными фигурами какой-то нереальной утопической картины, лишенной жизненного правдоподобия. За исключением деятельного инженера Кашкарова, использующего ветер вместо рабочей силы, ни один житель этого благословенного совхоза ни в коей мере не трудится, так как все либо женятся, либо в гости ходят, непрестанно радуясь изобилию тепла и еды, добываемому почти что сказочным образом.

Безмянность совхоза, а также полное отсутствие его географических привязок вряд ли убеждали читателя в реальности этой плакатной, почти лубочной картинки о затерянной стране с молочными реками.

Едва ли эту стерильную жизнь совхоза, обласканного прихотливой волей ветра, ставшего кухонным трудовым «мужиком» за неимением такового среди людей, Платонов предлагал в качестве образца для подражания в достижении социалистического

благополучия. Однако герой-резонер очерка товарищ Щербаков, упрекая молодого колхозника в незнании «диалектики», так как тот считает, будто избы «выдуваются ветром» по всему СССР — стране «еще глиносоломенной» — по причине близости Ледовитого океана, советует этому колхознику сходить в совхоз и увидеть, «как буря нагревает нашу страну» (с. 465). Более того, в заключительной фразе очерка, словно заимствованной из газетной передовицы, говорится, что в дальнейшем сила этого «изобретательского примера (...)» действовала все более широко и быстро», а сама «техническая идея» «сделать из ветра Кухонного Мужика и Истопника Советского Союза» «завладела массами и стала громадной действующей силой социализма» (с. 470).

Вероятно, не простой случайностью можно объяснить тот факт, что писатель выносит в заголовок довольно редкий речевой оборот «кухонный мужик», который, надо полагать, семантически адекватен понятию «народ». Пожалуй, определенную известность это выражение обрело после очерка Н. С. Лескова «О куфельном мужике и проч. : Заметки по поводу некоторых отзывов о Л. Толстом» (1886).

Платоновский интерес к Лескову известен, не меньший интерес, чаще критического свойства, испытывал он и к Достоевскому, ставшему героем лесковского очерка, вернее, одного из его эпизодов. Однако объяснение вероятности интереса Платонова к великолепному очерку Лескова вряд ли следует выводить исключительно из платоновских литературных и эстетических пристрастий. В очерке «О куфельном мужике» оказались сфокусированы различные социальные прогностики в отношении русского мужика таких «трех великих российских учителей», как Ф. Достоевский, Л. Толстой и И. Тургенев.

Для Платонова и его собственной социальной прогностики исторической роли народа (периода конца 1920-х—начала 1930-х годов), когда трагическое осмысление действительности превалировало в его творческом сознании, обращение к очерку Лескова вряд ли можно расценивать как случайность.

Достоверность биографического свидетельства из жизни Достоевского, сообщенного Лесковым, настолько подверглась сомнению исследователей, что эпизод никогда не включался ни в одно из изданий воспоминаний современников о Достоевском и был отнесен скорее к «апокрифическим», нежели к мемуарным.<sup>2</sup>

Следует иметь в виду, что этот очерк Лескова явился плодом известной литературной дуэли 1873 года между ним и Достоевским.<sup>3</sup> В качестве основного аргумента, свидетельствующего о

---

<sup>2</sup> См.: Пантин В. О. Биографические «апокрифы» Лескова : (По материалам статей и заметок) // Русская литература. 1992. № 3. С. 134—138.

<sup>3</sup> Подробнее о пикировке между Достоевским и Лесковым в 1873 году см.: Туниманов В. А. Ф. М. Достоевский и Н. С. Лесков в 1873 го-

достоверности описанного в очерке эпизода, следует использовать не только уверения Лескова, который, надо сказать, ссылается на здравствующих в тот момент свидетелей события, но прежде всего на тексты самого Достоевского, для которого мысль о народе как о носителе Христа была одной из самых излюбленных и постоянных, начиная с публицистики 1860-х годов и кончая Пушкинской речью. Чтобы «прочитать» лесковский очерк о «куфельном мужике», «провозглашенном» в петербургских салонах Достоевским, не как «апокриф», а как мемуарное свидетельство, необходимо, вероятно, опустить беллетристические детали, местами избыточные, но не лишённые, однако, психологической и фактической достоверности.

Однажды в зиму 1875/76 года, повествует Лесков, «в петербургском обществе получил особый интерес и особенное значение „куфельный мужик“». Ф. М. Достоевский тогда был на самой высоте своих успехов, по мере возрастания которых он становился все серьезнее и иногда сидел неприступно и тягостно молчал или „вещал“. (...) В ту зиму тут, в доме графини Толстой (вдовы А. К. Толстого. — С. И.), (он) впервые и провещал нам о „куфельном мужике“ (...). Вообще в свете „кухонный мужик“ представлял нам давно знакомое лицо, которое задолго до его пришествия (речь идет о кухонном мужике из повести Л. Толстого «Смерть Ивана Ильича», опубликованной в 1886 году. — С. И.) предвещано было Достоевским и только ожидалось, и ожидалось не без страха». Однажды «Ф. М. застал хозяйку (Ю. Д. Засецкую, дочь героя Отечественной войны 1812 года Дениса Давыдова. — С. И.) за выборками каких-то мест из сочинений Джона Буниана и начал дружески укорять ее за протестантизм и наставлять в православии. Юлия Денисовна была заведомая протестантка, и она одна из всех лиц известного великосветского религиозного кружка не скрывала, что она с православием покончила и присоединилась к лютеранству (...). Достоевский говорил, что он именно „уважает“ в этой даме „ее мужество и искренность“, но самый факт уклонения от православия в чужую веру его огорчал. Он говорил то, что говорят и многие другие, то есть что православие есть вера самая истинная и самая лучшая и что, не исповедуя православия, „нельзя быть русским“». Засецкая, продолжает Лесков, была «набожная христианка, но только не православная», и Достоевский «ей пенял и наставлял, но никак не мог возвратить заблудшую в православие. Споры у них были жаркие и ожесточенные. Достоевский из них ни разу не выходил победителем. В его боевом арсенале немножко недоставало оружия. Засецкая превосходно знала Библию, и ей были знакомы многие лучшие библейские исследо-

---

ду : Литературная дуэль // *Ars Philologiae* : Сб. к шестидесятилетию А. Б. Муратова. СПб., 1997. С. 172—189.

вания английских и немецких теологов, Достоевский же знал Священное Писание далеко не в той степени (...) и в религиозных беседах обнаруживал более страстности, чем сведущности. (...) В Петербург (зимой 1875/76 года. — С. И.) ожидался Редсток, и Ф. М. Достоевский по этому случаю имел большое попечение о душе Засецкой. Он пробовал в это именно время остановить ее религиозное своеобразие и „воцерковить” ее. С этой целью он налегал на нее гораздо потверже». Но «Засецкая не воцерковлялась и все твердила, что она не понимает, почему русский человек всех лучше, а вера его всех истиннее? Никак не понимала... и Достоевский этого ее недостатка не исправил». На вопрос Засецкой, «что именно в России лучше, чем в чужих странах?», тот «коротко» отвечал «всё лучше» и «никто не научил ее видеть» это. И когда она попросила Достоевского указать ей, к «кому идти за научением», «раздраженный Достоевский в гневе воскликнул: — Не видите, к кому идти за научением! Хорошо! Ступайте же к вашему *куфельному мужику* — он вас научит! (Вероятно, желая подражать произношению прислуги, Достоевский именно выговорил «куфельному», а не кухонному)». Дамы расхохотались. «Да, — заговорил раздраженный Достоевский, — идите все, все идите к вашему *куфельному мужику*! Он вас научит всему, всему, всему... и тому, чему учит Редсток, и тому, чему учит Мэксэнзи Уоллес и Деруа Болье (...) жить и умереть». Одна из дам ответила, что «очень трудно себе представить: чему кухонный мужик будет учить образованного человека».

В свете «находили, что „это ужасно, если уже до того дошло дело, что русским образованным людям ничего более не остается, как идти учиться на кухню”». Об этом, продолжает Лесков, «то смеясь, то негодуя, говорили и в Москве, и в Петербурге». «Вдруг кого-то осенила мысль, что *куфельный мужик* — это „указание предосторожности”. Как, однако, хитер и как загадочен ум Достоевского!.. Конечно, говоря о *куфельном мужике*, он нас *предостерегал!* Но являлись люди спокойного ума и уверяли, что его (кухонного мужика. — С. И.) в комнаты не пустят, — он все будет на кухне».<sup>4</sup> Не без лукавства Лесков пере-

---

<sup>4</sup> Лесков Н. С. О *куфельном мужике* и проч.: Заметки по поводу некоторых отзывов о Л. Толстом // Лесков Н. С. Собр. соч.: В 11 т. М., 1958. Т. 11. С. 147—153. Этот эпизод повторен в его же рассказе: Не оцененные услуги: Отрывки из воспоминаний / Публ. О. Е. Майоровой // Звезда. 1992. № 1. С. 171. Лесков не без основания полагал, что эта известная идея Достоевского восходит к П. И. Якушкину: «*Политика* Якушкина занимала очень мало (...). Формы правления для него были все безразличны — „как народ похочет, так и уставится”, но он ничего за народ не предрешал и не возвещал от себя в лице „всечеловека” (...). Если бы Якушкин не умер до сего времени (...) одно могло

водит высокую идею Достоевского об историческом учительном значении русского мужика в полярную по своему смыслу идею предостережения против этого мужика в виде растущих в стране революционных сил.

Идея, травестированная в петербургских салонах, безусловно, могла быть высказана Достоевским. Следует заметить, выражение «кухонный мужик» нигде и никогда не использовалось писателем, но хорошо известно, что семантически адекватным понятием в его публицистике было «русский народ». Лесков, конечно, лукавит, когда говорит, что писатель унес в могилу «тайну учительного значения куфельного мужика». Не было более постоянной темы в творчестве Достоевского, чем тема русского народа как единственного носителя христианской истины. «Не в православии ли одном, — говорится, к примеру, в «Дневнике писателя» за 1873 год (VII, «Смятенный вид»), — сохранился божественный лик Христа во всей чистоте? И, может быть, главнейшее предызбранное назначение народа русского в судьбах всего человечества состоит лишь в том, чтоб сохранить у себя этот божественный образ Христа во всей чистоте, а когда придет время, — явить этот образ миру, потерявшему пути свои!».<sup>5</sup> В своем последнем «Дневнике писателя» (1880, август) Достоевский продолжает повторять: «Я утверждаю, что наш народ просветился уже давно, приняв в свою суть Христа и учение Его. Мне скажут: он учения Христова не знает, и проповедей ему не говорят, — но это возражение пустое: всё знает, всё то, что именно нужно знать, хотя и не выдержит экзамена из катехизиса».<sup>6</sup>

Что касается сцены спора между Достоевским и Засецкой, иронически описанной Лесковым, ее отзвук находим в «Братях Карамазовых»: «Стал я тогда, — вспоминает о. Зосима, — еще в офицерском мундире, после поединка моего, говорить про слуг в обществе, и все-то, помню, на меня дивились: „Что же нам, говорят, посадить слугу на диван, да ему чай подносить?“ А я тогда им в ответ: „Почему же и не так, хотя бы только иногда“. Все тогда засмеялись. Вопрос их был легкомысленный, а ответ мой неясный, но мыслю, что была в нем и некая правда».<sup>7</sup>

---

его удивить, что те самые его народнические принципы, за которые его осмеивали „чистые литераторы“ *белой кости*, — теперь приняли они же сами, и притом с таким рабским подражанием Якушкину, что прямо посылают воспитанных людей „учиться у мужиков“. Резоны Якушкина, значит, свое взяли... Довольно трудно сказать, в какой бы теперь компании очутился Якушкин? Судьба {...} избавила его от выбора, который, кажется, несколько затруднял Достоевского» (*Лесков Н. С. Собр. соч. Т. 11. С. 86—88*).

<sup>5</sup> Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1980. Т. 21. С. 59.

<sup>6</sup> Там же. Л., 1984. Т. 26. С. 150.

<sup>7</sup> Там же. Л., 1976. Т. 14. С. 288. См. также: *Ипатов С. А. Достоевский, Лесков и Ю. Д. Засецкая: Спор о редстокизме* (Письма

Очерк Лескова «О куфельном мужике» логически вытекает из известной литературной дуэли между ним и Достоевским, поэтому оценивать серьезность выдвигаемых Лесковым обвинений необходимо с учетом сложности личных и творческих отношений между двумя писателями.

Платонов, безусловно, знал этот очерк, в котором Лесков «озвучил» имевший место факт биографии Достоевского. Написанный не без игривости очерк травестировал одну из самых сокровенных идей Достоевского, снижая ее высокий пафос. Именно это обстоятельство, по всей вероятности, побудило Платонова, критически относившегося к историческим взглядам Достоевского, вынести в заглавие собственного очерка лесковский оборот, конкретизировав его указанием на современную действительность.

Кухонный мужик Советского Союза должен был ассоциироваться в читательском сознании как преемник мудрого «куфельного» мужика, провозглашенного Достоевским. Неизбежное сравнение, на которое, безусловно, рассчитывал Платонов, высвечивало историческую несостоятельность этого пророчества: мужик Советского Союза, вышедший в октябре 1917 года из кухни, в ситуации 1931 года оказался беспомощен и бессилен научить чему-либо. Более того, в наступившей бредовой реальности восторжествовавшего социализма он утратил свою роль трудового класса нового общества. Однако едва ли только на мужика возлагал писатель эту вину — достаточно вспомнить «Усомнившегося Макара». Эта мысль находит свое подтверждение в одном из высказываний Платонова 1928—1930 годов, зафиксированном в его записных книжках: «Горе человека великого в том, что пролетариат завоевал власть (частично, смешанно, но едко, отравленно) для оригинальной, удивительной формации буржуазно-аппаратной демократии. Он увидел в революции чистый свет мира, превращенный в бред. И человек — в бреду».<sup>8</sup> Но Платонов идет далее и усугубляет это сравнение с «куфельным мужиком» Достоевского из очерка Лескова тем, что настоящим кухонным мужиком оказывается «ветер, а не человек», переменчивая стихия, не зависящая от земных человеческих раскладов.

Такая логика не могла не вызвать читательского неприятия имеющегося платоновского объяснения и желания понять, как и почему русский мужик не оправдал свое, казалось бы, истори-

---

Ю. Д. Засецкой к Достоевскому) // Достоевский. Материалы и исследования. СПб., 2002. Т. 16. С. 409—436.

<sup>8</sup> Платонов А. Деревянное растение: Из записных книжек. М., 1990. С. 18.

ческое предназначение, предсказанное Достоевским и не только им.<sup>9</sup> Прогностика великого учителя и пророка не выдержала, как, несомненно, полагал автор очерка «Кухонный мужик Советского Союза», проверку временем. Однако, по мысли Платонова, и социальная роль мужика, уже заложенная в самих условиях победившего социализма, не оправдалась. Таким образом, сам путь, на котором оказался Советский Союз к 1931 году, дискредитировался автором «Кухонного мужика Советского Союза» как тупиковый и несостоятельный. Приговор «не печатать» был самым мягким из тех политических кар, что могли бы последовать. Крамольные выводы возникали за рамками текста, во вне-сюжетной его плоскости, и были полностью спровоцированы автором, оставшимся в тени.

Такой прием — прием «ложной этической оценки» — был излюбленным приемом Лескова,<sup>10</sup> и вслед за ним Платонова, что косвенно и еще раз подтверждает неслучайность совпадений в заглавиях их очерков.

Полагаю, что, говоря о «духовном раздвоении Платонова», отраженном в очерке и сказавшемся в двух «пластах» его «идейного содержания» (с. 461), следует иметь в виду, что Платонов, безусловно, использует здесь из цензурных соображений «прием ложной этической оценки», заимствованный им у Лескова, а стало быть, сохраняет эти разноречивые «пласты» осознанно.

Итак, социальные проекции Платонова, не всегда доступные непосредственному осмыслению, демонстрируют свою прямую зависимость от предшествующей литературной традиции, поэтому концептуализация историко-литературного контекста творчества Платонова, относящегося к русской литературе XIX в., может оказаться продуктивной.

---

<sup>9</sup> См.: *Ipatova S. A.* «Муравейник» в социальной прогностике Достоевского и А. Платонова // XII Symposium International Dostoievski. 1—5 septembre 2004 (Abstracts). Geneve, 2004. P. 154—156. Поездка на симпозиум в Швейцарию была финансирована Российским фондом фундаментальных исследований (№ 04-06-85508), за что, пользуясь случаем, искренне благодарю фонд.

<sup>10</sup> См.: *Лихачев Д. С.* Прием ложной этической оценки у Лескова // Лихачев Д. С. Литература—реальность—литература. Л., 1988. См. также: *Ипатова С. А.* «Крохотное созданище» у Достоевского и Платонова, или Прием «ложной этической оценки» // Педагогія Ф. М. Достоевского: Сб. статей. Коломна, 2003. С. 92—100.